

П.С. М[ожет] б[ыть] то, что мы пишем об архиве, знакомо Вам из бесед с Мих[аилом] Гр[игорьевичем] Курдюмовым. Это от того, что с Михаилом Григорьевичем у нас, при дружной работе, идет почти ежедневный обмен мыслей. Во всяком случае то, что изложено здесь, неоднократно и целиком было предметом наших с ним разговоров.

ОР РНБ. Ф. 585. Д. 2069. Л. 1-4

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Цамутали А. Н. Борьба направлений в русской историографии в период имперализма: Историографические очерки. Л., 1986. С. 66–133; Академическое дело 1929–1931 гг. Вып. 1 : Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993.

<sup>2</sup> Валк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования по социально-политической истории России : Сб. статей памяти Бориса Александровича Романова. Л., 1971. С. 17, 18; Панеях В. М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000. С. 46, 49.

*Б. В. Ананьевич, Л. И. Толстая*

## ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЯНВАРЕ–ФЕВРАЛЕ 1911 г. (Власть и профессура)

Известно, что Петербургский университет в начале 1911 г. был охвачен забастовкой. Студенты бойкотировали занятия в знак протesta против консервативного курса правительства П. А. Столыпина и политики Министерства народного просвещения, возглавляемого Л. А. Кассо. Студенческое движение в России в 1910–1911 гг. и в частности в Петербургском университете изучалось. Однако публикуемая переписка приват-доцента университета филолога-классика Ивана Ивановича Толстого (1880–1954) со своим отцом Иваном Ивановичем Толстым (1858–1916) и сестрой Людмилой Ивановной Толстой (1882–1948) (в письмах Лилечка, Дюдю) существенно дополняют картину событий. И. И. Толстой-старший был известным специалистом по древнерусской и византийской нумизматике, археологом, почетным членом Академии наук. С 1893 по 1905 г. он занимал пост вице-президента Академии художеств, а с октября 1905 по октябрь 1906 г. — министра народного просвещения в кабинете С. Ю. Витте. Со второй половины января и до середины марта 1911 г. И. И. Толстой-старший вместе с дочерью путешествовал по Европе и находился вначале в Австрии, а затем в Италии. По семейной традиции сын ежедневно писал отцу о петербургских новостях. А его всегда и особенно живо интересовало все, что происходило в университете и в сфере образования. Итак, письма И. И. Толстого-младшего — ежедневный отчет о жизни университета и поведении студентов и преподавателей в дни забастовки.

Однако этим не ограничивается, на наш взгляд, ценность публикуемых документов.

Сам источник уникален. И. И. Толстой-младший оставил заметный след в отечественной науке и в истории Петербургского университета. После окончания университета

в 1903 г. И. И. Толстой готовился к профессорской деятельности при кафедре классической филологии, с 1908 по 1918 г. он преподавал в университете в звании доцента, а с 1918 по 1953 г. — профессора. В 1939 г. он был избран членом-корреспондентом, а в 1946 г. — действительным членом Академии наук СССР. Перед нами семейная и совершенно доверительная переписка. Достоверность сообщаемых сведений не вызывает сомнений. И. И. Толстой рассказывает о душевных переживаниях и унижении своем и большинства представителей университетской профессуры из-за неуклюжих и нелепых попыток правительства заставить преподавателей продолжать занятия в аудиториях под охранной полицейских штыков. В этом эпизоде из университетской жизни отчетливо отразилось (независимо от отношения преподавателей к студенческому движению) расхождение в представлениях о моральных и нравственных ценностях между официальной властью и университетской профессурой. Казалось бы, факт незначительный, но в то же время и опасный признак нараставшего недоверия между властью и обществом. Об этом свидетельствуют и рассуждения И. И. Толстого-старшего в письмах к сыну, и сделанная И. И. Толстым (по поводу событий в Петербургском и Московском университетах) ироничная запись в дневнике: «Милая у нас правительственная система! А главное, умелая!» (*Толстой И. И. Дневник. 1906–1916. СПб., 1997. С. 353*).

Публикуемые подлинники писем сохранились в личном архиве Людмилы Ивановны Толстой, дочери И. И. Толстого-младшего. К сожалению, удалось обнаружить не все упоминаемые корреспондентами письма.

## 1

С. Петербург  
26 января 1911 г.

Милый папусинька!

Из прилагаемой вырезки (сегодняшняя вечерняя «Биржевка») ты узнаешь о последних событиях, имевших место в университете. В дополнение к ней могу сообщить, что та «летучая сходка», которая собралась сегодня в коридоре университета, постановила забастовку с химической обструкцией до конца семестра: только что узнал об этом по телефону от Михаила Ивановича.<sup>1</sup> На мой вопрос, что думают делать профессора, он ответил «будем читать лекции, пока это будет возможно»...

К чему-нибудь в этом роде давно готовились, кризис наступил совсем неожиданно, и все же произошло это как-то вдруг. Еще утром сегодня лекции шли обычным порядком, правда, при незначительном, как все эти дни, количестве слушателей. Но что будет дальше теперь? По слухам, закрывать университет правительство не намерено, не закроет его, вероятно, и совет: по крайней мере, судя по словам очень осведомленного во всех этих делах Мих. Ивановича, пока делать этого не собирается. Между тем химическая обструкция вызовет активное противодействие со стороны союзников, и могут разыграться весьма тяжелые картины. Недаром вчера в коридоре же Шенкен<sup>2</sup> грозил, что в случае обструкции в Петербурге будет повторена одесская история. Если профессора

<sup>1</sup> М. И. Ростовцев (1870–1952), с 1903 г. профессор кафедры классической филологии.

<sup>2</sup> Г. Шенкен, лидер «академистов».

отнесутся ко всему этому пассивно, кто поручится, что к аудиториям для охраны порядка не будет поставлена полиция: но кто же из уважающих себя лекторов согласится излагать свои лекции, опираясь на защиту штыков?

Завтра, в четверг — день моей лекции. Именно завтра я предполагал начать чтение курса. Разумеется, отправлюсь, а там — что Бог даст! Из солидарности с товарищами необходимо взойти на кафедру, и речь может идти лишь о том, чтобы сойти с нее, не уронив своего достоинства. А для этого требуется прежде всего самообладание и такт. Час моей лекции между 11 и часом — самое, так сказать, «горячее» время университетского дня. Впрочем, весьма возможно, что слушатели мои попросту не соберутся и в аудитории я никого не застану. Так или иначе, завтра я тебе напишу, как все это произойдет и какое впечатление произведет на меня обстановка небывалой еще по определенному (целый семестр!) сроку забастовки.

И все же, и теперь еще, и сегодня, после того, как студенты уже постановили забастовку, я не уверен, что в весеннем семестре занятий вовсе не будет. Хорошего я ничего не жду, может быть, произойдут массовые аресты и высылки, и мятеж будет подавлен жестокими средствами, а так называемая академическая жизнь снова войдет через некоторое время в правильное, будничное, русло, и я спокойно буду излагать студентам особенности музы Эсхила и таланта Аристофана.<sup>3</sup>

Обнимаю тебя и милую Лиличку и крепко целую вас.

Твой преданный сын Иван.

2

С. Петербург  
27 янв. 1911

Милый папусинька!

Только что вернулся из университета. Типичная картина волнений. У калитки, через которую проходит студент, стоят два городовых и дворники, пропускающие только тех студентов, которые имеют билет. В профессорской профессора и прив[ат]-доценты волнуются и делятся впечатлениями: кого уже «сняли», кто только готовится испить чашу. Эрвин Гримм колеблется, идти ли вторично в аудитории, на следующий час: первую лекцию у него сорвали. Ректор Гримм читает; в профессорской все ждут его возвращения.<sup>4</sup> Наконец, он появляется. Лекция состоялась: по выходе из аудитории союзники устроили ему овацию. Известие это принимается с довольно смешанным чувством. Беру свой портфель и направляюсь по длинному коридору, в самый конец его, в XI аудиторию, где должна состояться моя лекция. Студентов в коридоре сравнительно не так много; отчасти такое впечатление происходит оттого, что студенты толпятся тесными кучками, горячо споря между собою. Перед некоторыми аудиториями стоят значительные сбираща. Проталкиваюсь через них. В XI аудитории застаю всего одного слушателя, кроме того, встречаю в коридоре студента Клау: кроме них никого нет. А помещение

<sup>3</sup> Эсхил (ок. 524–456 до н. э.), поэт, драматург; Аристофан (ок. 450–385 до н. э.), афинский драматический поэт.

<sup>4</sup> Э. Д. Гримм (1870–1940), историк, профессор историко-филологического факультета, ректор Петербургского университета (1911–1918); Д. Д. Гримм (1864–1941), профессор римского права, ректор Петербургского университета (1910–1911).

XI аудитории огромное. Втроем соглашаемся, что ввиду отсутствия слушателей, лекция состояться не может: для двоих не стоит читать курса, который обычно слушает человек тридцать или сорок. Таким образом, для меня дело обошлось наиболее счастливо, без всяких столкновений и осложнений. Это делает, во всяком случае, честь моим постоянным слушателям, которые не пожелали подводить меня. На возвратном пути по коридору останавливаюсь у двери на восточный факультет, чтобы поговорить с одним коллегой (юристом, тоже прив[ат]-доц[ентом]). В это время один из обструкционистов благим матом орет на весь коридор, грозно призывая товарищей идти на восточный факультет, где происходит чья-то лекция, — снимать профессора.

Самая обструкция происходит таким порядком: забастовщики входят в аудиторию и предлагают разойтись, ссылаясь на постановление сходки. Профессор обыкновенно обращается тогда с замечаниями, что постановление не обязательно, или предлагает забастовщикам спросить слушающих, желают ли те подчиниться или же продолжать занятия. Пока идут переговоры или пререкания, в задних рядах начинается пение, которое идет все crescendo, заглушая речи, так что дальнейшее чтение лекции оказывается невозможным.

В 12 часов я покинул университет. От Клау узнал, между прочим, что вчера была сорвана лекция Сергея Александровича.<sup>5</sup> Он читал классикам в количестве шести человек. Вошла толпа и потребовала прекращения лекции, угрожая применить силу. С. А. сказал тогда, что с подобными предложениями следует обращаться не к профессору, а к слушателям. Тогда Радлов<sup>6</sup> заявил, что раз угрожают силой, то ввиду того, что слушателей всего шесть человек, приходится подчиниться.

Среди профессоров, по-видимому, господствует мнение, что, если не будет никаких эксцессов со стороны союзников, которые во главе с Шенкеном именуют себя «беспартийной группой противников забастовки», или вмешательства со стороны правительства, движение мало-помалу уляжется.

Крепко целую вас обоих. Твой преданный сын Иван.

### 3

С. Петербург  
30 января 1911

Милый папусинька!

Сегодня в утренних газетах опубликовано постановление вчерашнего заседания совета профессоров Петер[бургского] университета. Т[ак] к[ак] ты получаешь «Речь», то — разумеется — ты уже с этим постановлением ознакомился.<sup>7</sup> Меня лично оно не особенно удовлетворяет. Во-первых, самое начало: «принципиально и безусловно осуждая учебную забастовку» — для студентов в этом ничего нового нет, они и без того это знают. Кажется, будто этой начальной фразой совет желает указать не студентам, а высшему начальству, что профессура отрекается от «крамолы». Дальнейшие слова «как бы они (т. е. забастовки) ни мотивировались», глухо выражают, что профессура понимает

<sup>5</sup> С. А. Жебелев (1867–1941), историк, филолог, археолог, академик с 1927 г.

<sup>6</sup> Очевидно, В. В. Радлов (1837–1918), историк, этнограф, академик с 1884 г.

<sup>7</sup> См.: Речь. 1911. 30 янв.

серьезность причин, вызвавших волнение, но совет обижен, он «с особой горечью констатирует совершенные студентами в университете акты грубого насилия».

Следующий абзац звучит, по-моему, чрезвычайно пошло: «памятую о своем нравственном долге стоять при всяких, даже очень тяжелых условиях на страже вечных и непреложных интересов науки» (должно быть, эти непреложные интересы заключаются в чтении лекций? и только?); «памятую о том, что просвещение всегда является факторами общественного прогресса» (труизм! какая пустая и пошлая фраза!), совет университета предлагает студентам возобновить занятия. Но «собака зарыта в конце». После хороших слов вот и угроза: «Во все время своего автономного (?) управления (как не стыдно говорить об «автономии»!) совет пытался (!) действовать не путем силы (?), а путем нравственного авторитета (где он, увы!). Если теперь этот нравственный авторитет (да, когда он был, спрашивается) окажется бессильным, — (и вот следует грозное предупреждение:) неотвратимо станет вмешательство посторонней для университета власти («авторитет», стало быть, по боку!), на действия которой совет никакого влияния оказать не может (ну, еще бы!). Из Москвы сообщают, что там «вмешательство полиции позволило профессорам окончить лекции. У входа в аудитории везде были расставлены городовые с винтовками. Желающих слушать лекции было немного». Что же это такое? «Фактор общественного прогресса, просвещение» поддерживается полицейскими штыками? Неужели, в самом деле, думают, что таким способом упрочивается нравственный авторитет профессуры?

Как бы то ни было, в понедельник университет снова откроется и мы, грешные, опять разбредемся по аудиториям с портфелями под мышкой. Как встретят нас слушатели, не знаю. Возможно, впрочем, что движение само собою уляжется, благоразумие общей массы студентов возьмет перевес, и занятия понемногу наладятся. Ну, а если вновь начнут бить банки с удушливыми жидкостями, что же тогда? Неужели действительно погонят и слушателей и лекторов в аудитории красноречивые винтовки городовых?

С двух часов у меня завтра практические занятия в университете: интересно, состоятся ли они и если состоятся, то при каких условиях. Завтра, разумеется, опять пошлю тебе письмо.

Целую тебя и Лиличку. До свидания.

Твой преданный сын Иван.

4

С. Петербург  
31 января 1911 г.

Милый папусинька!

Вчера на журфиксе у нас были, между прочим, Сергей Александрович и Марр (кроме них, обедали — Гинцбург, Филатов, Орбели, Кандауров и Коля).<sup>8</sup> После игры в лото мамуша отправилась спать, а гости засиделись со мною до половины первого.

<sup>8</sup> Н. Я. Марр (1865–1934), филолог, лингвист, археолог, академик с 1912 г.; И. Я. Гинцбург (1859–1939), скульптор или Д. Г. Гинцбург (1857–1911), банкир, востоковед; И. А. Орбели (1887–1961), востоковед, академик с 1935 г.

Говорили, разумеется, о делах в университете. Рассказывали подробности о заседании профессоров в субботу (Жебелев, впрочем, на нем не присутствовал, а Марр ушел до голосования известной резолюции, о которой я писал тебе вчера). По их словам, вопрос о том, что полиция будет допущена в помещение университета, уже решен. Пользуясь временным закрытием университета (с пятницы по сегодняшний день), полковник Галле посетил университет и подробно ознакомился с его топографией.<sup>9</sup> Говорят, сегодня в университетском коридоре будут расставлены городовые с ружьями, и лекции будут читаться под этой воинской охраной. Ростовцев произнес на совете речь, в которой говорил, что профессора должны принести эту жертву… В том же духе высказывались и другие. Возражали только Введенский и Стеклов.<sup>10</sup>

Положение создалось крайне тяжелое, мы пришли к какой-то мертвотой петле, выхода из которой не видно. Испытываю ощущение стыда и унижения, и как-то хочется бежать вон из России, куда-нибудь заграницу, в свободную страну. Жить в России становится омерзительно. Окончательно предаться «мешанству» не позволяет совесть, а жизнь возвышенная представляется здесь невозможной или влекущей за собою трагическую развязку.

Профессора, взывающие к своему нравственному авторитету, пишут недостойные постановления, вроде вчерашнего, и соглашаются читать лекции под угрозой штыков, но хороши и студенты: Жебелев крайне раздражен. Дело в том, что в среду, когда в его аудиторию вошли забастовщики, и он вынужден был прекратить чтение лекции, вдогонку ему раздались аплодисменты. Это его возмутило, и он сделал замечание по поводу их неуместности. На это последовал ответ, что его замечания совершенно излишни, а один из обструкционеров подошел к нему и дал совет употребить забастовочное время на научные работы, так как имя его (Жебелева) в науке совершенно неизвестно. Другим говорили еще худшие дерзости: Пергаменту, когда удаляли из аудитории, кричали бранные слова, называя его «министерский холуй».<sup>11</sup>

После завтрака отправляюсь в университет: в два часа должны происходить у меня практические занятия. Вероятно, положение к этому времени уже определится. Поозвращении домой пошлю тебе новое письмо.

Целую крепко тебя и Лиличку.

Твой преданный сын Иван.

## 5

С. Петербург  
31 января 1911 г.

Милый папусинька!

Исполняя свое обещание, пишу сегодня же о том, что видел, слышал и пережил в университете. В половине второго я был уже у его подъезда. У дверей профессорского

---

<sup>9</sup> В. Ф. Галле (1862–?), полицейский чиновник.

<sup>10</sup> А. И. Введенский (1856–1929), философ, профессор логики и психологии Петербургского университета; В. А. Стеклов (1863–1926), математик, с 1906 г. профессор Петербургского университета, академик с 1912 г.

<sup>11</sup> М. Я. Пергамент (1862–1932), юрист, профессор гражданского права юридического факультета Петербургского университета (1899–1911).

подъезда и у калитки, ведущей на университетский двор, я нашел дежурившую полицию. Кроме того, перед воротами находилось два конных городовых. Я прошел через калитку, направляясь в Музей древностей; никто меня не задерживал и не допрашивал. Вдоль всей галереи были расставлены городовые с винтовками. В Музее я застал Мясоедова и еще несколько других молодых людей из оставленных при университете или оканчивающих курс — моих приятелей.<sup>12</sup> Все возбуждены. На мой вопрос, что делается, предлагают мне самому посмотреть, выйдя в коридор. Выхожу и вижу следующую картину. Весь коридор занят полицией, городовые в шинелях и шапках с винтовками при штыках. Тут же суетятся полицейские офицеры, отдающие какие-то приказания. Весь коридор поделен на несколько застав — живые изгороди — толпа студентов, которая стиснута городовыми, затем свободное пространство и новая толпа студентов, окруженнная городовыми. Холод в коридоре ужасный. На дворе сильный мороз, а в коридоре открыты форточки, чтобы вентилировать удушливые пары «химической обструкции». Разумеется, о своей лекции я и думать забыл. Чтобы добраться до аудитории, пришлось бы протискиваться сквозь полицейские наряды; сомнительно, чтобы при такой обстановке нашлись бы у меня слушатели, а кроме того, я все равно, войдя в аудиторию, отказался бы читать. Я прямо не мог представить себе, как возможно читать лекции в таком аду! А лекции между тем состоялись, но чего они стоили и как прошли! Встречаю в Музее Жебелева. От него и от других узнаю, что в 12 часов пошел на лекцию Пергамент. Студенты просили его не читать, но он твердо решился читать лекцию и проделал путь до своей аудитории вдоль всего коридора, а за ним с дикими воплями, криками и оглушительными свистками двигались студенты. Рев толпы был столь ужасен, свистки до того пронзительны, что, сидя в Музее древностей, Жебелев едва мог выносить этот шум и чувствовал себя совершенно разбитым. Освистанный, Пергамент вошел в аудиторию, двери которой тотчас же стали охраняться изрядным нарядом полицейских, отеснившим протестантов далеко от аудитории. Через два часа, когда лекция кончилась, слушатели Пергамента пошли обратно, встречаемые по пути криками и свистками товарищей. Сам Пергамент проделать обратно путешествие по коридору, видимо, устрашился и ушел какими-то потайными выходами (или через библиотеку или через подъезд юридического кабинета). Слушатели Пергамента (довольно многочисленные, почти сплошь были «академистами»; среди них я заметил знаменитого Шенкена (филолог!)). У Сергея Александровича лекция прошла спокойно, но народу было очень немногого: Диль, Клау, Радлов — эту публику ничем не прошибешь, да еще один подозрительный субъект из академистов. Пока он читал в аудитории Музея, я сидел в кабинете хранителя вместе с Петром Ивановичем, покуривая и обсуждая события.<sup>13</sup> Поминутно в коридоре раздавались крики. Один раз послышались особенно резкие свистки. Мы выскочили в коридор: оказалось, по коридору шествовал сам полицеймейстер Галле, которого студенты провожали шиканьем и свистками.

В три часа я вместе с С. А. и Филатовым покинул здание университета.<sup>14</sup> Всех задержанных студентов, свиставших и просто толпившихся в коридоре, полиция переписала.

<sup>12</sup> М. Н. Мясоедов (1887–?), студент юридического факультета Петербургского университета.

<sup>13</sup> Очевидно, П. И. Филатов.

<sup>14</sup> С. А. Жебелев и П. И. Филатов.

Были ли аресты, не знаю, но следует думать, что часть студентов была задержана. Рассказывают (передаю со слов Филатова, которому говорили это студенты), что Бенешевич,<sup>15</sup> явившийся сегодня читать лекцию и заставший у дверей своей аудитории полицию, объявил слушателям, что читать не будет и, повернувшись, ушел. У Ростовцева было столкновение со слушательницами на курсах. Он вздумал читать им нотации и в ответ получил ряд оскорблений, ему кричали «черносотенец» и т. д.

Завтра, очевидно, будет повторение сегодняшних картин, если положение не изменится за ночь: дело в том, что сегодня вечером очередной совет профессоров университета.

Картина, свидетелем которой я был, навела меня на новую мысль, которой я не особенно доверяю, но которую хочу все же поделиться.

Ректор вышел утром к толпившимся в коридоре студентам и громко объявил им, что его власть прекратилась: власти ректора в университете больше нет, она перешла к полиции.

И вот мне приходит в голову, не есть ли это маневр: профессора выражают полную готовность читать лекции. Они готовы пережить позор, подвергнутся свисткам и оскорблению со стороны студентов. Правительство упрекает их, что они ничего не могут поделать с беспорядками. Оно предлагает им помочь полиции. Хорошо: пускай придет и полиция. Что же из этого выйдет? Правительство воочию убедится, что и полиция не в состоянии будет принудить правильно слушать лекции, что она вносит лишь еще больший беспорядок. Это крупная и рискованная игра, участники которой, вроде Пергамента, должны согласиться на самопожертвование, но в результате она может привести к крупному выигрышу.

Или это мираж, пустая фантазия, и нет героев, а есть только дрожащие за свою шкуру люди? Решить отказываюсь.

При сем посылаю вечернюю «Биржевку».

Твой любящий сын Ваня.

P. S. Очень извиняюсь за плохой почерк, неразборчивый. Спешил, желая поскорее поделиться волнующими меня событиями. И. Т.

## 6

1 февр[аля] 1911 г.

В дополнение к прилагаемой вырезке из сегодняшней вечерней «Биржевки» могу сообщить еще одну подробность. Из толпы студентов в то время, как Пергамент шел на лекцию, была брошена одним студентом, стоявшим на подоконнике, в Пергамента чернильница. Бросавший попал ею в ноги: штаны и сапоги Пергамента были облиты чернилами. Но это обстоятельство не остановило профессора. Он все-таки добрался до аудитории и прочел свою лекцию. У нас дома все, слава Богу, благополучно.

Крепко целую тебя и Лиличку.

Твой любящий тебя Ваня.

---

<sup>15</sup> В. Н. Бенешевич (1874–1938), историк права, археограф, профессор церковного и гражданского права Петербургского университета.

С. Петербург  
2 февраля 1911 г.

Дорогая Дюдю!

Был сегодня у Н. Я. Марра. На нем лица нет: как-то распухло, сделалось одутловатым. Впрочем, говорит спокойно, только не смеется, как это в его обыкновении.

В понедельник 31-го он отправился на лекции рано: он читает с 9 утра. У вешалки, на лестнице, в коридоре, даже в лектории он никого, кроме полиции, не встретил. Студенты, его постоянные слушатели запоздали, задержанные полицией. Вся эта обстановка его страшно взволновала, но он все же решился читать. Но ни он не мог приступить к лекции от волнения, ни слушатели его не были в состоянии вникать в фонетику армянского языка. Mapp сказал им, что видит, что в таких условиях он не имеет сил читать, на что слушатели его заметили: «Да, уж какая тут лекция! Вы посмотрите, что делается в коридоре». Чувствуя, что волнение его все увеличивается, Mapp отправился вниз искать ректора, которому хотел сообщить обо всем, сказать, что он не в состоянии читать, якобы принуждаемый к чтению посторонней университету властью. Но ректора, равно как и проректора в университете не было. И Mapp потребовал у секретаря совета, Кривошеина,<sup>16</sup> бумагу, чтобы письменно изложить все, что он желал лично сказать ректору. Но буквы стали прыгать, перо не слушалось и Н. Яков[левич] вдруг расплакался. Кривошеин стал успокаивать, принесли стакан воды, по телефону вызвали ректора. Когда приехал Гримм, он обратился к Mappu с вопросом, что с ним произошло? «Со мной ничего, но что произошло с университетом?» На этом сам Гримм расплакался, а Mapp разрыдался, и с ним сделалась настоящая истерика, настолько сильная, что пришлось вызвать врача. Он говорит, что пережил самый позорнейший день в своей жизни. Вчера на совете и Пергамент объявил, что дальше продолжать так не может, что дошел до пределов возможного. Решено просить министра об удалении из университета полиции. Но не поздно ли? Поправит ли это дело?

Ужасен также случай с проф. Ивановским.<sup>17</sup> Вчера, около трех часов дня, один студент отправился в коридор с намерением оскорбить действием первого профессора, который ему встретится. Ему встретился Ивановский, который выходил из аудитории. Он ударил его рукой по лицу. Рука была смазана какой-то краской, так что на лице Ивановского остался след от пощечины. Студента задержала полиция и еще двух других, пытавшихся освободить товарища. Ударивший объявил, что оскорблению относилось не лично к Ивановскому, а всему совету. В лице Ивановского весь совет получил пощечину.

Узел затягивается все туже и выхода из него, по-видимому, нет. Целую крепко вас обоих.

Твой преданный сын Иван.

<sup>16</sup> Кривошеин, секретарь Совета.

<sup>17</sup> А. И. Ивановский, краевед, профессор.

С. Петербург  
3 февраля 1911 г.

Милый папусинька!

Не могу не писать об университетских событиях, которые чрезвычайно меня волнуют. Из сегодняшних газет ты, в общем, уже должен быть ознакомлен с положением дела. Просьба совета была удовлетворена далеко не в полной мере: полиция удалена только из коридора университета, но на всех лестницах, в различных закоулках, не так бросающихся в глаза, городовых по-прежнему целая куча. Словно желая успокоить нервы профессоров, полицию попрятали по углам, будто ее и нет, и университет прежний. Какая-то возмутительная комедия!

У меня сегодня лекция, но я твердо решил не читать. Я находил недостойным читать, якобы под охраной или, вернее, понуждаемый к чтению лекции какой-то посторонней силой, ничего с университетом общего не имеющей. Я понимаю, меня могут лишить возможности читать обструкционисты, но не понимаю, какая сила может принудить меня читать или заниматься в той обстановке, которая создалась за эти дни в университете, чтение лекции несомненно носит красноречивые признаки подобного принуждения.

В университет, однако же, я отправился, с намерением отказаться читать, если у меня найдутся слушатели. Но, к счастью, слушателей не оказалось вовсе. Да и вообще до 12 или до 1 ч. лекции почти ни у кого не состоялись. После часу студенты перешли к более активным действиям и сорвали несколько лекций: об этом я знаю из вечерней Биржевки. В 4 часа у меня собралась обычная компания классиков, читателей Эсхила; говорили об университетских делах (перед занятиями и после них). Лукианов<sup>18</sup> бастует и на лекции не ходит. Завтра должна быть лекция Зелинского и мои классики рассуждали о том, идти или не идти.<sup>19</sup> Лукианов советовал не ходить, говоря, что посещением лекции только подводишь профессора. Гриневич и Казанский,<sup>20</sup> кажется, не согласны с ним; другие держат себя неопределенно.

Они же мне рассказали, между прочим, что на женских курсах Хилинскому<sup>21</sup> устроили страшный скандал. Обыкновенно у него бывает всего четыре слушательницы, а тут к нему набралось человек сорок (академисток и забастовщицы) и разыгралась целая буря, в результате которой он был «вытурен» из аудитории «со страшным скандалом».

Я удручен зрелищем позора университета, с которым сжился со студенческой скамьи: ведь с 1899 года я почти ежедневно бывал в этом длинном старинном здании.

Политику совета я понимать совершенно отказываюсь. Закроют или не закроют университет? Вот главный вопрос, который всех мучает. Профессура была бы счаст-

---

<sup>18</sup> Очевидно, С. С. Лукианов, преподаватель кафедры античной литературы.

<sup>19</sup> Ф. Ф. Зелинский (1859–1944), филолог-классик, в 1885–1921 гг. — профессор Петербургского университета.

<sup>20</sup> С. В. Казанский, историк, ученик Н. И. Кареева или Б. В. Казанский (1889–1962), литературовед и переводчик, окончил историко-филологический факультет в 1916 г.; А. В. Гриневич (1891–1938), студент. В 1914 г. возглавлял студенческую организацию РСДРП.

<sup>21</sup> К. В. Хилинский, приват-доцент кафедры классической филологии.

лива, если бы университет закрыли, но не решается даже просить о том после того, как получила уже раз отказ: просить о закрытии вновь, получить опять отказ и после этого явиться под угрозой штыков читать лекции — это уже черт знает что. Этого боятся.

Целую вас обоих.

Ваня.

9

С. Петербург  
5 февраля 1911 г.

Милый папусинька!

Получил вчера твое письмо от 27-го по поводу университетских событий.<sup>22</sup> Горячо благодарю за него. Меня поражает, как верно и точно оцениваешь ты создавшееся положение, находясь вдали от событий, живя в далеком Риме!

И это твое письмо так же, как и все предыдущие, принесло мне большую радость: в твоих письмах я черпаю подкрепление собственным принципам, оправдание которым я нахожу у тебя, а твое мнение для меня чрезвычайно дорого: помимо «сыновней привязанности», я ценю тебя, как человека умного и неподкупной честности. Под всеми твоими «пунктами», от 1-го до 6-го, я подписываюсь. Вполне согласен, что «главная мерзость в университете состоит в том, что а) заставляют читать под охраной полиции, каковой лектора не просили и б) читая лекции, профессора дают повод и возможность полиции отделять козлищ от овец». Письмо Трубецкого в «Речи» я читал, разумеется: что касается дискредитации профессоров,<sup>23</sup> соглашающихся читать при «всяких условиях», интересно отметить известие, напечатанное в сегодняшнем № «Речи»,<sup>24</sup> о постановлении вчерашнего собрания членов литературного общества: «в резолюции подчеркивается отрицательное отношение общества к правительенным мероприятиям, нарушающим автономию высшей школы, а также к тем профессорам, которые читали лекции в присутствии полиции».

Разумеется, правильный путь, по которому следовало идти, намечен тобою в 5 пункте: преподавательский персонал должен не сочувствовать насильственной забастовке (это с одной стороны) и выразить ясно непригодность и возмутительную грубость принятых правительством мер (с другой стороны). Эта правильная программа не была, к сожалению, выполнена.

Едва ли ты ошибаешься, предсказывая, что дело в университете не наладится до лета (кроме экзаменов, если до них допустят профессора и министерство), но что правительство станет скоро осторожнее, убедившись, что обмишурилось. Экзамен, несомненно, состоится: на это уже указывает вопрос о зачете семестра. Повестки, приглашающей прив[ат]-доцентов на совместное совещание с факультетом, я до сих пор не получал.

Лично про себя скажу, что в отношении своем к университету я замечаю в себе некоторую, если можно так выражаться, апатию. Ходить в университет избегаю: прямо

<sup>22</sup> Письмо не обнаружено.

<sup>23</sup> В глазах как студентов, так и общественном мнении.

<sup>24</sup> См.: Речь. 1911. 5 февр.

противно. Острый период возмущения во мне перегорел и на сердце остался осадок презрения и разочарования. Сидя дома, больше занимаюсь, и диссертацией своей и чтением. Лекций в университете не читаю, но продолжаю, если угодно, отчасти и преподавание: приходят классики, читаем Эсхила; приходят и молодые студенты заниматься греческим языком у меня на дому. Полагаю, что в этом духе я и закончу этот «академический год».

В письме к тебе я могу быть совершенно откровенным и говорить то, чего не решусь сказать, может быть, другим: правительенная власть меня возмущает, об этом нечего и распространяться (кстати, меня привел в восторг твой родительный падеж Cassonis!), но удручет и роль профессуры: в том, как реагировала и реагирует она на правонарушения, сказываются несравненно сильные «чиновники», чем «деятели науки». Идейность отсутствует совершенно, вопрос переносится на какую-то тактическую почву. Слова о «служении чистому знанию» представляются мертвыми фразами, ибо верно твое замечание, что «нам еще неизвестны такие пророки и благодетели человечества, которые служили бы своей идеи под охраною штыков». В этом я вижу роковые результаты всего того уклада правительенной опеки, в котором возрастили наши университеты. Люди идут на кафедры не по призванию, а просто в силу сложившихся обстоятельств. И в общем оказывается, что представители официальной науки у нас, в массе, либеральные и просвещенные чиновники, не больше. Служение науке для них это вроде манифеста 17-го октября для октябристов: пустой, красивый звук. Нет духовного, глубокого сознания в необходимости для страны светочей знания, а есть просто «профессорская карьера».

И я спрашиваю себя: может быть, пора признать банкротство правительенных университетов, не следует ли ожидать «спасения» от тех вольных университетов, вроде унив. Шанявского, которые создаются общественными силами?

В заключение прошу очень извинить меня за сбивчивость изложения и неразборчивость почерка: как то, так и другое объясняются тем обстоятельством, что письмо писано мною в состоянии «геморроидальном». Мой геморрой «разыгрался». На стуле по этому сидеть было трудно, и я несколько раз во время писания переходил на постель, дабы «излечиваться», а затем опять принимался за перо.

Ввиду того, что во вчерашних открытках ты говоришь, что из Рима вы двинетесь около 12-го, я — если не получу от вас новых известий — пошлю вам письма еще завтра 6-го и послезавтра 7-го.

Получил ли ты посланные мною корректуры?

Целую крепко тебя и Лиличку. Всего хорошего.

Твой любящий и преданный сын Иван.

Милый папусинька!

Вчера, в воскресенье, у нас обедали — Герасимов, Жебелев, Кандауров, Ося и Коля. Сергей Александрович<sup>25</sup> разъяснил мне, что текст повести, содержание которой я передал тебе позавчера, я понял неправильно: празднование касается только традицион-

<sup>25</sup> С. А. Жебелев.

ногого 8-го февраля, а сегодня 7-го университет открыт. Значит, и сегодня будут повторяться прежние удручающие картины.

За обедом и после обеда вплоть до 10 часов говорили почти исключительно об университетских событиях. В 10 часов сели играть в лото, Герасимов также принял участие, причем оказался в наибольшем выигрыше. Во время лото, которое требует механического сосредоточения внимания, все как будто отдохнули, прекратив на время обсуждение волнующих вопросов. Разошлись поздно, в 12½ часов.

Герасимова очень волнуют университетские события. Образ действий профессуры он осуждает, находя ошибкой согласие читать лекции при создавшейся обстановке. Но теперь выхода никакого из тупика не видит. Считает положение крайне серьезным, жалеет молодежь, которая массами выбрасывается за борт. Жалеет с болью в сердце и сверкает злобными глазами от негодования. Высылки учащихся считает политическим безумством, вспоминая слова Плеве о том, что эти высылки есть лучшее средство пополнения кадров революционеров.<sup>26</sup> Это уже не твердая политика, а просто дикое упрямство власти, которая — не задумываясь над последствиями — желает просто настоять на своем. Сомневается, однако, чтобы сладить с университетами удалось. Беспорядки прекратить теперь невозможно. Будут лишь новые эксцессы, все сильнее и сильнее, и в конце концов для Столыпина университетские истории окажутся роковыми.

Со стороны все происходящее может быть предметом спокойного наблюдения, но войдя в шкуру университетского преподавателя. Сегодня опять — день новых унижений. Во мне лично борются два чувства: коллегиальности и личной чести. Отказываться от чтения лекций, когда старшие товарищи, да и целый ряд приват-доцентов, в конце концов — спасая свою шкуру — находят возможным читать, тяжело. Но все мое существо восстает против возмутительной обстановки этой кукольной комедии — чтения двум, трем слушателям в то время, как за дверями аудитории ежедневно происходит арест студентов непосредственно в здании университета, и «рассадник просвещения» действительно походит на какой-то «участок». До сих пор я еще ни разу не читал — слушателей у меня не находилось. Но если они найдутся, придется «решать». И решу я, конечно, так, как продиктует мне моя совесть и личная честь.

Постараюсь сегодня же послать тебе еще одно письмо. Целую.

Ваня.

## 11

С.Петербург  
7 февраля 1911 г.

Милый папусинька!

В сегодняшней передовице «Речи», перечисляющей итоги событий за истекшую неделю, отмечает[ся], что университетские события отодвинули на второй план все остальные интересы. Ввиду такого категорического заявления кадетского органа, решаюсь вновь докучать своими рассказами и сетованиями на ту же тему. В письме к мамушке, таком милом, простом и искреннем, Лиличка рассказывает, как вы смотрели на приезд сербского короля и торжественную встречу короля, гостеприимством страны

<sup>26</sup> В. К. Плеве (1846–1904), директор Департамента полиции (1881–1894), министр внутренних дел (1902–1904).

которого вы пользуетесь в настоящее время: я искренно позавидовал вам возможности любоваться этим мирным зрелищем и порадовался от души за вас: как далеко это от нас, от той «русской действительности», в которой мы живем теперь. Хождение в университет — это какая-то нравственная пытка, но что-то неотразимо тянет к нему, заставляет ходить в этот длинный коридор. Был я и сегодня: у меня лекция от двух часов. Картина та же. В галерее, на лестницах битком набито полиции. На площадке перед входом в Музей несколько полицейских офицеров закусывают, завтракают бутербродами. Ружья, штыки. В коридоре полиции нет: комедия продолжается та же. В Музее застал Жебелева и Джавалова. Вступил в их беседу, конечно о положении дел в университете. И вот, в то время, как я произносил какую-то фразу, что-то горячо доказывая, в дверях появляется незнакомый мне студент с книжками в руках. «Виноват, г. профессор, я вас прерву», обращается он ко мне. — Что вам угодно? «Я бы хотел узнать, профессор, будете ли вы читать сегодня лекцию». (А у меня, надо сказать, сегодня — по понедельникам — практ[ические] занятия по чтению Ксенофона,<sup>27</sup> и аудиторию свою я знаю наперечет) — Я вас совершенно не знаю, отвечаю я студенту, вы никогда не были на моих лекциях. «Да, но я на вас записался. Я занимался раньше у Гибеля,<sup>28</sup> а теперь собираюсь слушать вас». Я вынул часы и, посмотрев на них, увидел, что было без десяти два. — Еще рано, сказал я, лекция начинается обыкновенно двадцать минут третьего. «Я хочу узнать у вас, будете ли вы читать сегодня: может быть, вы сегодня читать не предполагали». Настойчивость вопросов этого субъекта, в которой слышался «союзник», меня раздражила. И я ответил ему: «да, сегодня я лекций читать не предполагал». После этого студент удалился. Может быть, под впечатлением этой сцены, и Жебелев решил не читать двум единственным из пришедших классиков — Дилю и Клау — уж слишком тяжела вся эта невыносимая комедия, и мы, накурившись в музее, пошли по домам. А между тем ведутся какие-то записи читаемых лекций, какая-то регистрация. Желающие (а их очень много) расписываются у секретаря совета в том, что они читали лекции.

В 4 часа ко мне пришел Бенешевич: отвел с ним немного душу. Он так же, как и я, читать не в состоянии. Говорит, что выше всякой партийности и коллегиальности собственная совесть.

Вечером собираюсь в археологическое общество. Крепко целую тебя и Лиличку. Твой преданный и любящий сын Иван.

## 12

С. Петербург

11 февраля 1911 г.

Милый папусинька!

С какой радостью, с чувством какой отрады прочел я в сегодняшней вечерней Биржевке открытое письмо московского именитого купечества, услышал голоса настоящего русского человека: Москва заговорила.

Все эти дни собирался я написать вам подробно о своих чувствах, сомнениях и колебаниях по поводу переживаемых нами тяжелых событий университетской жизни.

<sup>27</sup> Ксенофонт (ок. 430–355 до н.э.), древнегреческий историк.

<sup>28</sup> К. В. Гибель, преподаватель кафедры античной литературы.

Разобраться в них подчас было нелегко, именно потому, что я был не только зрителем, но, так сказать, и второстепенным участником драмы. С грубостью и прямолинейностью правительственная власть открыла поход против крамольной кадетской профессуры. В лучшем случае она желала совсем истребить ее, удалить из стен университета, в худшем дискредитировать ее в глазах студенчества и общества. Как первое (отставка Мануйлова<sup>29</sup> и др.), так и второе (чтение в присутствии полиции) ей удалось осуществить лишь отчасти. Коллективный выход в отставку был бы, конечно, чрезвычайно убедителен, но этот шаг вообще неосуществим. Для многих из числа профессоров отставка почти равняется голодной смерти. И власть понимала это прекрасно. С другой стороны, все профессора все равно не ушли бы. А выход отдельных членов оказался бы жестоким донкихотством. Итак, пришлось остаться на своих местах и вступить в полосу того ада, в который попал университет. Профессора решили остаться на своих постах и «читать» даже в присутствии штыков, под перекрестным огнем студентов и полиции. Мы пережили обморок Жижиленко,<sup>30</sup> истерику Марра, пощечину Ивановскому, позор Пергамента. Но власть была неумолима. И « занятия » продолжаются, правда лишь с формальной стороны. На самом деле учебная жизнь совершенно замерла: аудитории пустуют или читаются лекции для пяти, десяти слушателей, специалистов. Для иллюстрации скажу, что из 14 «классиков» (а народ это, кажется, достаточно спокойный) добрая половина на лекции не ходит.

Когда в предыдущие дни происходили, при посильном участии так называемых «академистов», многолюдные лекции у некоторых юристов (Озерова, Гессена и др.),<sup>31</sup> то кончались они арестами. По выходе из аудитории профессор встречался в коридоре свистками, шиканьем и оскорблениеми, и демонстрантов ловила дежурившая у дверей аудитории полиция. В результате около полтысячи загубленных молодых жизней: все они исключены из университета в административном порядке.

Пока нет никакой надежды, чтобы дело повернулось к лучшему, и вот мне лично, хотя и занимающему скромное место прив[ат]-доцента по кафедре греческой филологии, приходится все же считаться с создавшимся положением.

В первые дни я думал бросить все и подать в отставку, но ждал, что сделают это другие, мои старшие товарищи. Потом я убедился, что об отставке никто серьезно не думает и говорят о ней, как о красивом жесте. Но читать в обстановке полицейских шинелей и штыков, которые станут охранять мою особу от чернильницы и затем арестовывать ожидающих моего выхода обструкционеров, — я не был в состоянии. Так до сих пор я, после среды 26 января, и не прочел ни одной лекции. И, правду говоря, вряд ли решусь делать это и теперь. Между тем на «отставку» смотрят чрезвычайно косо, как на своего рода измену чувству товарищества. Уходя из университета, я показываю, что моя честь не позволяет мне в нем оставаться и тем самым как бы высказываю, что остающиеся коллеги страдают в моих глазах отсутствием этой чести.

Я решил поэтому поступить так: ждать, во всяком случае, ближайшей среды, когда в Думе предстоит обсуждение запроса. М[ожет] б[ыть], после этого наступит какая-нибудь

<sup>29</sup> А. А. Мануйлов (1861–1929), экономист, ректор Московского университета (1908–1911).

<sup>30</sup> А. А. Жижиленко (1873–не ранее 1928), правовед, юрист, юрист-криминолог, профессор Петербургского университета.

<sup>31</sup> В. М. Гессен (1868–1920), правовед, профессор Петербургского университета.

перемена. Затем следует праздничное время Масляной. Таким образом, до Поста я, если не произойдет каких-нибудь новых событий, ничего «предпринимать» не стану. Но, если Постом в университете будет продолжаться прежняя картина, я постараюсь уйти из университета. Трудиться в нем на пользу кучки академистов и для поддержки «совета» я нахожу прямо нелепым. Я готов жертвовать временем и силами на пользу университетской науки, но для игры в кукольную комедию — не хочу. Естественно, что, собираясь на подобный шаг, я колеблюсь: с университетом я близко сроднился, он мне дорог, и расстаться с ним будет мне больно. А уходя теперь, я не знаю, попаду ли в него я потом. Ведь это выйдет так, что в трудную минуту университета, я — пользуясь тем, что материально обеспечен, — брошу его, а потом представлю свою диссертацию тем же лицам, которых теперь я покинул. Жалко мне и Сергея Александровича, которого я, что называется, подвел, взвалив на него всецело и экзамен, и курс, и практические занятия.

Но так или иначе, все эти соображения, пожалуй, отступят на второй план, если окончательно выяснится, что университета, в сущности, нет больше и не будет, а есть какие-то обломки его.

Еще два слова. Кассо послушный помощник нашего премьера.<sup>32</sup> Хорошо исполняет поручения и проявляет твердость. Но фатально, кажется, то, что взят он из Москвы, и задумал сводить свои личные счеты с Мануиловым. Главный удар обрушился на Москву. И в то время, как наш университет молчал, в Москве произошли коллективные отставки, известное постановление совета профессоров, а теперь открытое письмо в газеты именитого купечества. А с Москвой, коренной, русской Москвой, приходится ведь считаться: как бы не оказался действительно прав Герасимов; может быть, именно на Москве-то и споткнется? Хотелось бы верить в это.

Слышал стороною (от Мясоедова) мнение Никодима Павловича.<sup>33</sup> Он в восторге от Кассо и говорит, что Кассо нашел верного помощника в лице Шевякова, «который всегда терзался на университетских советах». Приписывает, насколько я понял, отчасти и себе некоторое участие через Шевякова<sup>34</sup> в текущих событиях. Говорит, что мысль об иностранных семинариях, о которых Кассо распространялся в нововременском интервью — его, Кондакова, мысль. У Мясоедова волосы дыбом встают от всего, что он услышал от Никодима, и он без смеха не мог передавать его беседы, до того казалась она ему нелепой. Тут я искренно порадовался, что ты находишься в Риме и выслушиваешь речи г-жи Набоковой: все-таки, я думаю, легче, чем академик?

Однако я чересчур болтался. Прошу извинения. Крепко целую.

Твой преданный сын Иван.

---

<sup>32</sup> Л. А. Кассо (1865–1914), историк права, управляющий Министерством и министр народного просвещения (1910–1911).

<sup>33</sup> М. Н. Мясоедов (1887–?), студент юридического факультета Петербургского университета; Н. П. Кондаков (1844–1925), историк византийского и древнерусского искусства, академик с 1898 г.

<sup>34</sup> В. Т. Шевяков (1859–1930), зоолог, член-корреспондент АН с 1908 г., с 1899 г. профессор Петербургского университета, в 1910–1915 гг. — товарищ министра народного просвещения.

Grand hotel Quirinal  
Rome  
13 февр. 1911 г.

Дорогой Ваня,

Благодарю тебя еще раз за подробных два письма от 7 февраля, которые я вчера утром получил. Ты уже, в общем, знаешь, мое мнение, если ты получил мое первое письмо по университетскому вопросу. Вчера прочел речь Маклакова в Думе<sup>35</sup> с сущностью которой вполне согласен и которая, кажется, совпадает с тем, что я тогда писал: Столыпин — недалекий, но властолюбивый временщик<sup>36</sup> а Кассо — je m'en fichiste, сделавший неожиданную карьеру, продав себя вышереченному временщику. Я вполне одобряю твой ответ незнакомому студенту, спросившему 7-го февр., будешь ли читать лекцию: мне кажется, что читать лекции при данных обстоятельствах и обстановке нельзя было. Понимаю вполне некоторую неловкость твоего положения при решении вопроса о собственном поведении, ввиду, во-первых, существования менее тебя привилегированных — товарищей (в смысле обеспеченности), и во-вторых (но только во 2-х), солидарности с профессурою. Вполне согласен с тобою, и даже подчеркиваю это согласие, что лучше всего в таких случаях руководствоваться собственною совестью и не забывать человеческой чести. В конце концов нельзя дозволять, чтобы люди делали с вами все, что хотят, не спрашивая вашего на то согласия. Я смотрю на дело так: правда, что правительство платит профессорам деньги (жалованье), чтобы учить, читать лекции; но проучившись для этого известное количество лет, доказавши на экзаменах и диссертациями, что они овладели наукой и могут преподавать, профессора не давали обязательства за жалованье читать везде, где прикажут и как прикажут.

Ну, а если превратят университет в кадетский корпус — обязаны ли нравственно профессора читать лекции? Ведь они шли на чтение лекций в ун-т, а не в участок... Я понимаю, что очень трудно быть героями, но есть же предел всему. Правительство и его присные ведь абсолютно же неправы: нельзя следовать в политике меньшиковским рецептам,<sup>37</sup> и если правительство этого не понимает, то тем хуже для него и для всех, от него зависящих; делать, однако, нечего, и если правительство вступило на неправильный и нелепый путь, то приходится всем считаться с его последствиями. Я понимаю это так, что как профессорам, так и приват-доцентам нет нужды самим подавать в отставку (хотя и в этом, смотря по обстоятельствам, не было бы никакого позора, а была бы иногда и честь), но не следует бояться быть прогнанным. В таких случаях, когда действуешь по совести и обдуманно, «позорное» изгнание, отставка без прошения или предложение подать в отставку — есть мученичество, которое так или иначе зачтется. Нужно только действовать не по наитию, а сознательно, отнюдь не боясь последствий, раз совесть чиста и ни в чем не укоряет. Тебе это, конечно, даже легче, чем

<sup>35</sup> В. А. Маклаков (1869–1957), присяжный поверенный, один из лидеров кадетской партии, член Государственной думы.

<sup>36</sup> П. А. Столыпин (1862–1911), министр внутренних дел и председатель Совета министров (1906–1911).

<sup>37</sup> М. О. Меньшиков (1859–1918), публицист, литературный критик, сотрудник суворинского «Нового времени».

другим, так как ты, благодаря Бога, человек независимый и пользующийся уважением, думаю, со всех сторон.

Ведь вся правительственная авантюра нелепа с начала до конца! Против чего борются, чего хотят? Чтобы молодежь не рассуждала? Чтобы юноши между 19 и 26 годами не интересовались политикою, ничем, происходящим в России? Чтобы профессора за плату, даваемую правительством, не только читали лекции, но и симпатизировали ретроградному правительству? Да ведь все это нелепость, совершенно недостижимо само по себе. И для достижения этой нелепости какие меры принимаются? Да именно такие, что если бы молодежь ни о чем не рассуждала и ничем не интересовалась, то должна бы начать рассуждать и интересоваться. Профессора, наименее интересующиеся политикою, ввергнуты в нее насильно!.. Поистине, quem *vult perdere*...

Если чего боялись — ну, закрыли бы университет, а если не боялись, то дали бы перебеситься. Нет, им нужен не только всероссийский, но всемирный скандал!..

Будь здоров и бодр (хоть печально, но интересно).

Твой любящий отец.

## 14

С. Петербург  
13 февраля 1911 г.

Милый папусинька!

Вчера я писал вам о том, что получил приглашение от бюро младших преподавателей на собрание, посвященное текущим событиям академической жизни. Я сказал также, что я колебался, отправляться мне или нет. В конце концов я решил пойти и не раскаиваюсь в этом: было очень интересно. Собрались на квартире одного лаборанта, который предложил собравшимся чай и скромное угождение (разумеется, спиртные напитки отсутствовали). Сошлось человек двадцать пять исключительно «левых», самых, так сказать, «надежных». Приглашения посланы были с большим разбором: созвали только таких людей, отношение которых к текущим моментам довольно определенно. В числе таких лиц оказался и ваш покорный слуга. Из приглашенных не явился, кажется, один только Бенешевич, которого что-то задержало дома. Тут были не только университетские, но представители (не делегаты, конечно) и других высших учебных заведений. Из филологов, кроме меня, были Тарле, Шишмарев и философ Лосский.<sup>38</sup> Собрание носило анкетный характер: делились впечатлениями и подсчитывали силы, рассуждали о возможных формах защиты советами, на которые возлагаются надежды. Многое для меня на этом собрании выяснилось и определилось. Так, например, я с чувством удовлетворения отметил общую тенденцию поддержать старших товарищей (профессорские коллегии), хотя все единодушно осуждали или недостаточно энергичный образ действий и малодушие. Относительно чтения под охраной полиции, кажется, не было двух мнений: все без исключения относились к этому отрицательно, и я рад был найти в этом отношении единомышленников. Многие, подобно мне, после 31-го

---

<sup>38</sup> Е. В. Тарле (1874–1955), историк, в 1903–1917 гг. — приват-доцент Петербургского университета, академик с 1927 г.; В. Ф. Шишмарев (1875–1957), филолог, академик с 1946 г.; Н. О. Лосский (1870–1965), философ, приват-доцент Петербургского университета с 1900 г.

января лекций не читали вовсе, другие (и это, конечно, слабая сторона) читали, хотя и терзались нравственно. По вопросу об отставке говорили о необходимости, быть может, потом коллективной отставки и о возможности единичных отставок, в зависимости от тех или иных условий положения. Решили, наконец, послать открытое письмо московским товарищам, подавшим в отставку (некоторые из них буквально теперь голодают). Текст письма будет выработан и под ним будут собираться подписи. Произнесли и речи. Наиболее спокойную, так сказать «правую», речь произнес сидевший рядом со мной Кузьмин-Караваев.<sup>39</sup> Он говорил очень умно, хотя в нем сказывался скорее политический деятель, нежели представитель академической среды. Он осуждал студенческое движение с тактической точки зрения: забастовка, говорил он, будет подавлена, студенты будут побеждены, а быть побежденным в политике равняется утрате того, что имелось до начала борьбы. Он советовал доцентам не выступать за свой страх, т[ак] к[ак] это только повредит делу, а идти в хвосте за советами. Но говорились и очень «левые» речи, подвергавшие очень жестокой критике поведение советов и указывавшие на то, что иначе поступить, как оно поступило, студенчество не могло. Особенность тронула меня вдумчивая речь философа Лосского. Маленький человечек, лысый, в очках, с большой русой бородой, очень скромный, он твердо заявил, что для него вопрос важен не с политической стороны, а чисто с академической. Он сам занимается наукой (а ученый он превосходный) и старается ввести в науку студентов. И вот он думает, что это святое дело можно творить лишь в той обстановке, какую вообще это дело требует: он бы сравнил это требование с требованием истинно верующего священника, для которого нужен чистый храм. Вопрос имеет моральную сторону, прежде всего. Но где выдвигается моральная сторона, там выступает индивид. Вот почему, если его моральное чувство продиктует ему необходимость вовсе устраниться от преподавания, он не задумается сделать это даже вопреки коллегиальности: после 31-го и он не читал. В этих словах Лосского, уважаемого и как человека, и как ученого, я услышал подкрепление своих собственных взглядов. Выступал на собрании и наш приятель Генкель.

В половине 12-го я покинул общество вместе с двумя другими товарищами, и домой вернулся в 12 часов. Мамуша уже лежала в постели и засыпала, когда я вошел к ней в спальню.

Никаких решений, программ и т. п. на собрании не принималось, кроме решения послать письмо москвичам.

Из частной беседы с некоторыми лицами на этом собрании я узнал про слух, будто в коалиционном студенческом совете произошел раскол, появилась тенденция к прекращению этой длительной забастовки и что будто бы 19 февраля, в юбилейный день великой даты освобождения крестьян, коалиционный совет собирается выпустить воззвание, которое констатирует, что забастовка удалась, достаточно произвела впечатление и что теперь ее необходимо прекратить. Насколько этот слух соответствует действительности, проверить трудно.

Как курьез, могу сообщить, что спрашивал вчера вечером у Шишмарева, как идут дела на женских курсах. Он ответил, что положение приблизительно то же, что и в

<sup>39</sup> Д. В. Кузьмин-Караваев (1886–1959), юрист, выпускник Петербургского университета.

университете: слушательниц еще меньше, чем студентов. Только один человек собирает человек 14 — это Хилинский, который уверяет, что в числе их имеются человека четыре его постоянных слушательниц. «Но лекции у него, заметил Ш[ишмарев], постоянно проходят с какими-то прениями. Происходят вечные пререкания и столкновения». Х[илинский] объясняет это тем, что он принципиальный враг забастовки, а потому столкновения неизбежны.

В университете каждый день ведется регистрация читаемых лекций и соответствующая рапортинка передается полиции, очевидно, для передачи в министерство внутренних дел.

В результате весьма возможно, что меня попросту выгонят из университета, не дожидаясь «отставки»: такой исход дела для меня, разумеется, был бы самым простым. Думаю, впрочем, что до этого дело все-таки не дойдет и все эти предположения относятся к области шуток. С другой стороны, я не верил и вводу полиции в университет и тоже считал, что этим нас только пугают. Извиняюсь за пространность и сбивчивость послания и помешаю его в качестве бесплатного приложения к заказному пакету с бумагами.

Целую крепко тебя и Лиличку. Мы с мамушкой, слава Богу, здоровы. Напиши, пожалуйста, о своем насморке, несомненно приключившемся, как справедливо, думается мне, предположила Лиличка, от несносной пыли, о которой вы нам писали. Надеюсь, однако, что ко времени получения настоящего моего послания твой насморк уже пройдет.

Еще раз всего хорошего.

Твой преданный и любящий сын Иван.

14 февраля 1911 г.

Письмо было написано вчера. Сегодня сдавая его на почту, хочу сделать еще маленьющую приписку.

Прежде всего, от всей души благодарю за твоё длинное письмо касательно университетских событий, которое я вчера получил от тебя: оно помечено 9 февраля.<sup>40</sup> Я прочел его, между прочим, и Жебелеву, бывшему вчера в воскресенье у нас вечером. Со всем, что ты говоришь в нем, я совершенно и безусловно согласен. Особенно успокоил меня конец письма, в котором я прочел оправдание моему образу действий: признаюсь, меня мучили на этот счет сомнения. Еще раз — большое, большое спасибо.

Завтра, 15-го во всех учебных заведениях постановлено начать масляничные каникулы: со вторника до воскресенья (почти полная неделя). Событий надо ожидать, стало быть, не раньше начала Великого Поста. Оказывается, Сергей Александрович также слышал о намерении коалиционного совета 19-го февраля прекратить забастовку. Но можно быть почти уверенным, что снятие забастовки дела существенно не изменит, так как полицейские наряды из университета вряд ли будут удалены впредь: присутствие полиции у аудиторий может сделаться постоянным.

В среду ожидается в Г[осударственной] Думе речь Столыпина по университетскому вопросу (запрос о высшей школе); по слухам, он выкажет твердость, будет говорить на ту тему, что никаких уступок со стороны правительства не будет. Центр его поддержит, конечно. И в Великий Пост мы вступаем окончательно униженные и побежденные.

---

<sup>40</sup> Письмо не обнаружено.

Если слух о прекращении забастовки окажется ошибочным или, если профессура не пожелает окончательно примириться с тем положением, которое намерена создать для нее правительственный власть, мы вступим в новую фазу разразившейся над высшей школой бури.

До свидания.

По-прежнему буду писать вам о происходящем, если вообще будет, о чем писать.

Ваня.

Р. С. При сем прилагаю: рескрипт Марии Павловны с препроводительной бумагой Голицына и письмо Бороката.<sup>41</sup>

И. Т.

## 15

С. Петербург  
21 февраля 1911 г.

Милый папусинька!

Пишу все на ту же, наболевшую и начинающую уже и мне самому надоедать, тему: об университете. Лиличка в последнем своем письме говорит, что ты, зная, что она пишет мне, просишь ее передать мне, чтобы я не торопился своими решениями: «напиши ему, чтобы он не торопился решением и еще раз хорошенько обдумал все и не увлекался». Да, действительно, приходится мне теперь поломать голову. Конечно, дело не во мне и нечего мне особенно беситься: ведь я прекрасно сознаю, что я — что называется — десятая спица в колеснице. Когда вопрос идет о положении всей высшей школы в России, то как-то комически-мизерным звучат «вопли» о собственной судьбе. Это-то я отлично понимаю. Но все же я человек, «индивиду» и, как таковой, принужден думать и о собственной своей особе. Может быть, потому именно я так и «беспокоюсь», что тут замещана и моя личность. В конце концов, это и естественно.

В письме от 13-го ты говоришь, что как профессорам, так и приват-доцентам нет нужды, по твоему мнению, самим подавать в отставку, но не следует бояться быть прогнанным. Последний исход для меня лично был бы, конечно, наиболее приятным. «Нужно только действовать не по наитию, говоришь ты далее, а сознательно, отнюдь не боясь последствий, раз совесть чиста и ни в чем не упрекает». За последние прекрасные и твердые слова мысленно обнимаю тебя и шлю горячее спасибо! Письма твои, вообще говоря, явились для меня великим подспорьем. Я так привык проверять себя, пользуясь твоими советами, а тут пришлось «действовать самостоятельно». Во многом события опередили твои письма. И это обстоятельство еще больше увеличило для меня их ценность, т[ак] к[ак] я с радостью прочел в них оправдание своих действий уже post factum. Не сговариваясь, мы оказались солидарны с тобою во взглядах на главнейшие стороны происходящего. Мамуша предоставляла мне, так сказать, полнейшую «свободу действий». То, что она высказывала, почти дословно совпадает с текстом последней твоей открытки (от 17-го):<sup>42</sup> «конечно, если ты по совести найдешь, что оставаться нельзя»,

<sup>41</sup> Приложение не обнаружено. Мария Павловна (1854–1920), великая княгиня, жена великого князя Владимира Александровича, президент Академии художеств (1909–1917).

<sup>42</sup> Открытика не обнаружена.

то уходи, но во всяком случае следует обдумать зрело и спокойно такой решительный шаг, и не только по отношению к самому себе, но и по отношению к коллегам». Правда, последнее мамушка не так подчеркивала, как ты. Но я вполне сознаю, что именно в «отношении к коллегам» и заключается вся «хитрость вопроса».

Если бы события в петербургском университете приняли тот оборот, какой они приняли в московском, и если бы целый ряд профессоров и доцентов вышел в отставку, как то имело место в Москве, — разумеется, я уже давно был бы в числе этих последних. Но в Петербурге дело обстоит совсем иначе. В Москве университет встретил горячую поддержку со стороны общества; в чиновном Петербурге этой общественной поддержки, на которую университет мог бы опереться, не было. И мы стоим теперь в тупике.

Недавно я был у Марра и беседовал с ним по поводу всего происходящего и творимого. «Да, вам можно позавидовать, сказал мне Марр: вы можете бросить все, уехать куда-нибудь заграницу, и там работать и заниматься тем, что вас интересует». — Это верно, возразил я, но я никогда не решусь экспортироваться. Добровольно бросать свою страну только потому, что жить в ней тяжело, я нахожу неправильным. А вот из университета я действительно хочу бежать. — «Но ведь совершенно то же можно приложить и к университету, возразил мне Марр. Если все мы бежим, кто, спрашивается, нас заменит? Маргариновые профессора новой формации? На наше место сядут господа, которые в конец разрушат даже то, что есть. И впоследствии нам, может быть, придется бороться лишь для того, чтобы вернуть хоть то положение, которое заставило нас бежать». На это я не нашел возражений. Теперь, обдумывая общую идею слов Марра, не заключающих в себе ничего особенно мудреного, но правдивых и благородных, я полагаю, что есть существенная разница между моим положением и его. Раз вопрос переносится, так сказать, на практическую почву, то тут выступает уже ценность отдельной личности. Скажу яснее: для него, для Марра, например, безусловно, важно сохранить кафедру, в интересах самой науки. Спешу подчеркнуть, что с будущего года, когда утверждаются новые штаты Академии, он материально от ухода своего из профессоров ущерба абсолютно не понесет. Итак, продолжаю: ему важно не покидать кафедры потому, что необходимо поддержать на факультете его школу, обеспечить своим присутствием на факультете дальнейшее развитие научных работ в области иафетической лингвистики. С его уходом, все начатое им, вся его научная школа рискует в университете погибнуть. Но у меня дело обстоит совсем иначе: я только «помощничаю», не больше. И буду ли я или вместо меня другой прив[ат]-доцент, от этого дело особенно не изменится.

Переходя к фактической стороне вопроса, положение, в которое я теперь попал, сводится к следующему. Как я уже сказал, мы — насколько вообще возможно судить по первому дню возобновившихся в университете занятий — стоим в тупике. Полиция из университета не уходит и, по всей вероятности, так и не уйдет до конца семестра. Лекции в этой позорной обстановке читаться тем не менее будут. До сих пор я от чтения лекций уклонялся, принципиально расходясь в этом отношении с большинством своих коллег. Приступить к ним теперь мне довольно трудно, ибо наличие условий остается прежней. Те курсы, которые я в этом году читаю, сложились, с этой точки зрения, довольно удачно: практические занятия обязательного характера не носят, [таким] о[бразом] зачета их не полагается. Равным образом, читавшийся мною курс по истории греческой драмы с экзаменом не связан, слушатели его на экзамене не сдают.

Таким образом, с формальной стороны, от устраниния моих курсов с программ преподавания (уйду ли я совсем из университета или просто временно прекращу чтение лекций), студенты никакого урона, в смысле зачетов или экзаменов, не понесут. Эта сторона очень облегчает дело.

Далее, внутренний голос подсказывает мне, что если бы я ушел теперь из университета и отдался всецело научной работе, то года два или три правильных занятий (последовательного чтения книг и писания ученой работы) сделали бы, может быть, из меня порядочного ученого и, во всяком случае, были бы несравненно полезнее преподавательской деятельности.

Заглядываю я и в будущее. Убежден, что критическое положение высшей школы лишь временное, что мы рано или поздно дождемся светлых дней. Но, спрашивается, скоро ли? Что через пять или шесть лет все уладится, что университет опять вернет свою физиономию свободной научной школы, в этом для меня лично, с эгоистической точки зрения, пока мало еще утешения: стремиться к профессуре при тех порядках, какие, по-видимому, желают насадить в университетах, я нахожу для себя прямо-таки нелепым. Таковы выводы, говорящие за отставку. Против нее говорит одно принципиальное соображение: уйти из прив[ат]-доцентов, это значит — до известной степени порвать с университетом. Делать мне это тяжело, как виду прошлого, так и будущего. В прошлом меня связывают с университетом те чувства привязанности к нему, какие я питал со времен моего студенчества; в будущем — возможность плодотворно трудиться в нем, когда настанут лучшие времена. Своим уходом я никакого «эффекта» не произведу, это явится только моим личным делом, которое покажет лишь, что я отказываюсь пребывать в том тяжелом и сомнительном положении, в каком решаются оставаться мои «коллеги». И вопрос, буду ли я иметь нравственное право вернуться в их среду, когда «лучшие времена» наступят. К этому присоединяется еще одно, побочное, соображение личного характера: мне не хотелось бы «подводить» Сергея Александровича, которого мне ужасно жаль. Поэтому я бы готов был продолжать делить вместе с товарищами тяготу общего положения в надежде, что положение, может быть, и улучшится, и рассматривая свое пребывание в университете как своего рода «крест». Но в таком случае, я не уверен, насколько это окажется совместимо с уклонением от лекций. Пожалуй, последовательнее было бы тогда принять на себя и тяжесть чтения лекций при существующей обстановке. А это не больно весело.

Итак, выражаясь языком официальным, виду всего изложенного, заключаю свое письмо довольно-таки слабым заявлением: хочу еще немного «выждать». За последнее слово мне, сознаюсь, немного совестно. Но выждать я хочу потому, что таково вообще свойство моего характера: я человек осторожный. А затем, я ничего не могу поделать со свойственным моей натуре «оптимизмом» (?): в моем сердце все еще теплится слабый огонек надежды, что жизнь создаст, быть может, иные условия; кто знает, может быть, через неделю новые события укажут совершенно ясно тот путь, по которому надо идти. Послушаю, что будет говорится в Думе, дождусь речи Столыпина и присмотрюсь к дальнейшему образу действий нашей профессуры. И лишь тогда только, когда все мои иллюзии лопнут и отношение мое к происходящему станет для меня самого отчетливо ясным, тогда я поговорю по душе с моим другом, Сергеем Александровичем, и направлю, выражаясь языком пинитическим, свою жизненную ладью по новому руслу, но к прежней, неизменной цели — образованию собственного дела и

сообщению своих знаний другим. Прости за лирику, излишние длинноты и, в конце концов, бесплодное нытье. Но я просто ощущал потребность, в некотором роде, «изиться» перед тобою. И еще два слова: прошу тебя и Лиличку не думать на основании тона моего письма, что я утратил свою жизнерадостность. По-прежнему, я верю в жизнь и стараюсь не падать духом. И обо мне не беспокойтесь: решение в ту или иную сторону я приму сознательно и буду всегда готов дать в нем ответ. «Нужно только действовать не по наитию, а сознательно, отнюдь не боясь последствий, раз совесть чиста и ни в чем не упрекает». Этими словами, заимствованными из твоего письма, я и хочу закончить свое послание.

Крепко целую тебя и милую Лиличку.

Твой любящий и преданный сын Иван.

## 16

Hotel Quirinal

Rome

27 февраля 1911 г.

Получил сегодня твое длинное письмо с мыслями об университетских делах от 23-го.<sup>43</sup> Нахожу, что все твои рассуждения совершенно верны и соответствуют создавшемуся положению. Мне лично издали кажется следующее:

1. Главная мерзость в Университете состоит в том, что: а) заставляют читать под охраной полиции, каковой лектора не просили, и б) читая лекции, профессура дает и повод, и возможность полиции отделять козлищ от овец, подвергая первых разным мучительствам (выражаюсь кратко).

2. При таком положении дел, дозволено ли уважающему себя человеку активно помогать правительству в установлении невероятного режима в Университете, а полиции в избрании своих жертв?

3. Состав слушателей играет тоже известную роль: если значительное число постоянных слушателей настойчиво требует продолжения занятий и притом не подводит сознательно товарищей, то читать им можно и даже, пожалуй, следует. Но если в числе их находятся люди незнакомые, приходящие на лекцию ради манифестации, то соглашаться играть роль в ней для лектора унизительно и даже непозволительно.

4. Профессора и доценты не могут и не должны соглашаться на чтение лекций при всяких условиях, которые угодно будет установить правительству, и я вполне согласен с Трубецким (см. письмо его в № 52 «Речи»), что такое их поведение может их окончательно дискредитировать в глазах как студентов, так и в общественном мнении, какое у нас даже как-никак существует.

5. Преподавательский персонал Университета должен: а) не сочувствовать насилиственной форме забастовки, но б) выразить ясно непригодность и возмутительную гибкость принятых правительством мер: правительство обязано было прежде всего узнать мнение профессорской коллегии и ясно убедиться, что она не сочувствует забастовке и готова принять свои меры против нее. Раз этого не сделано (пусть даже по ошибке), нравственная ответственность с профессуры снимается и члены ее перестают быть исполнителями приказаний правительства и получают нравственно свободу действовать

---

<sup>43</sup> Письмо не обнаружено.

по совести, как ученые, как частные люди, перестав быть агентами правительства, которое их не желает признавать.

6. Я нахожу, что пока совершенно правильно поступаешь, так как не поступаешься ни своими принципами, ни взглядами на смысл событий. Боюсь, что дело примет затяжную форму, так как не могу себе представить, как студенты, после того, как сотни и сотни их товарищей сосланы или засажены в тюрьмы (легко при этом предвидеть и самоубийства, и голодовки, а м. б., и экзекуции), начнут опять спокойно заниматься *ad majorem Stolypini et Cassonis gloriam*. Очевидно, этого не будет, а следовательно... вам всем придется стоять перед дилеммою: потерять «лицо» или положение. Опять повторяю, что тебе спешить нечего: ты обеспечен и не только можешь, а должен поступать по совести, не нуждаясь ни в каких «красивых» жестах. Конечно, Марр прав, когда говорит о своих и, конечно, тоже твоих обязанностях по отношению к науке и ее насаждению, но только до тех пор, пока служение науке и ее распространению не наносит вреда самому «храму» науки, так как нам еще неизвестны такие пророки и благодетели человечества, которые служили бы своей идеей под охраною штыков и грубой силы, признавая возможность такой охраны своего служения, выражаясь возвыщенно, человечеству. Уход по своей воле я признавал бы пока, если не случится чего-либо неожиданного и особо возмутительного, непрактичным, но не боялся бы изгнания за исполнение своих человеческих обязанностей. Именно люди, занимающиеся своей наукой и вводящие в нее слушателей, нужны и всегда будут нужны Университету, а не те, которые отбарабанивают свои лекции ради положения и жалованья. Поэтому, первые, что ни болтают черносотенцы, гораздо сильнее и могут ждать, не поступаясь совестью, гораздо спокойнее вторых. Думается, что дело в Ун-те не наладится до лета (кроме экзаменов, если до них допустят профессора и м-ство), но что правительство станет скоро осторожнее, убедившись, что обмишурилось.

Целую, будь здоров и бодр.

Твой любящий отец.

Трубецкой, с коим мы встречаемся, не профессор.

*B. A. Соломонов*

## **«УСТРАНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ СИЛ — ФАКТ НЕПОСТИЖИМО БЕСПРИМЕРНЫЙ В ЖИЗНИ ПРОСВЕЩЕНИЯ!»**

**(Министр Л. А. Кассо и судьбы российских университетов)**

Вместо неожиданно ушедшего в отставку А. Н. Шварца — автора нашумевшего и агрессивно встреченного научной общественностью проекта университетской реформы,<sup>1</sup> министром народного просвещения в 1911 г. был назначен Лев Аристидович Кассо, бывший до этого профессором Московского университета. С приходом его в министерство, «в академических кругах, — по отзыву Н. В. Сперанского, — затеплилась надежда, что университеты в ближайшем, по крайней мере, будущем останутся в покое. Кассо в качестве министра был встречен, правда, с недоумением, но это чувство не носило недоброжелательного оттенка. <...> Кто мог бы думать, — вопрошал далее